

меня часа два свободных есть еще. Ну, говорить, тебе два часа! А что же? Да ужь коли застраховать, так... два дня! Вот и так, г. Чехов! Утворю вест, что в среднестатистический застраховать по два дня и обиды по четыре случайно почта, чти у народа, не раз в год, не на Покров, а на Антона, и на Онуфрия.

Но важнѣйшее открытіе, которое удалось сдѣлать г. Чехову, состоитъ въ томъ, что народъ нашъ въ Бога не вѣритъ. Г. Чеховъ рассказываетъ о многочисленной мужицкой семьѣ и о невѣріи каждаго изъ ея членовъ особое показаніе. „Старикъ не вѣрилъ въ Бога, потому что почти никогда не думать о Немъ“. „Бабка вѣрила, но какъ-то тускло. Молитвъ она не помнила и обыкновенно по вечерамъ, когда спать становилась передъ образами и шептала: Казанской Божьей Матери, Смоленской Божьей Матери, Троицкой Божьей Матери... Своихъ „Марья в Оска крестилась, говѣли каждый годъ, во ничего не понимали“. О дѣтихъ ихъ вѣчего и говорить: „дѣтей не учили молиться, ничего не говорили имъ о Богѣ, не внушали никакихъ правилъ и только запрещали въ постѣ ѣсть скоромное“. Вотъ такъ семейка! Но она вовсе не была исключеніемъ: „въ прочіихъ семьяхъ было почти то же: мало кто вѣрилъ; мало кто понималъ“.

Г. Чеховъ очень смѣлъ. Онъ противорѣчитъ здѣсь не только нашему общему, исторически сложившемуся, представленію о русскомъ народѣ, какъ о народѣ очень религіозномъ, но и цілому ряду литературныхъ авторитетовъ, утверждавшихъ насъ въ этомъ представленіи. Вотъ, напримеръ, Каратаевъ („Война и Миръ“) Льва Толстого. Каратаевъ, совершенно какъ и „старикъ“ г. Чехова, „почти никогда не думаетъ о Богѣ“, но Толстой изъ этого не заключалъ, что Каратаевъ потому не вѣрилъ въ Бога. Каратаевъ (какъ и „старикъ“) никогда не думалъ и о воздухѣ своихъ полей и лѣсовъ, но это не значитъ, что онъ не дышалъ. Разница образовъ, Толстой не говорилъ о Каратаевѣ, что онъ „вѣрилъ какъ-то тускло, хотя Каратаевъ молился совершенно такъ, какъ и „бабка“ г. Чехова: „Господи Исусе Христе, Никола угодникъ, Фрола и Лавра, помилуй и спаси насъ“. Выслушаемъ теперь показаніе другого авторитета въ вопросѣ народнои психологіи—Гриба Успенскаго. Вотъ что онъ говоритъ про одного изъ своихъ героев, крестьянина Ивана Ермолаевича: „Иванъ Ермолаевичъ въ Бога вѣрилъ крѣпко, непоколебимо крѣпко, близость Бога ощущалъ почти до осязанія, а молитвы читалъ по своему. Вѣрую въ единого Бога отца, училъ онъ сыновъ, и въ небо, и въ землю. Ви-

дѣло-навидѣно, слышимъ по-нашему. Писанностилиса еси, расчиталиса еси... А дальше ужь Богъ знаетъ что было. Катилось „Вѣрую“ такъ: отъ лукаваго. Аминь“. („Крестьянинъ и крестьянский трудъ“). Г. Чеховъ сказалъ-бы тутъ уже не то только, что Иванъ Ермолаевичъ „не училъ дѣтей молиться и не внушалъ имъ правилъ“, а сказалъ-бы, что онъ внушалъ имъ ложныя правила и неправильно училъ ихъ молиться. Строгий формалистъ г. Чеховъ! Но въ томъ и бѣда всякаго формалиста, что за формою онъ не видитъ и не понимаетъ сущности дѣла. Правда, указавъ на невѣріе своихъ мужиковъ, г. Чеховъ прибавляетъ: „въ томе времѣ всѣ любили священное писаніе, любили вѣчно, благоговѣнно, но не было книгъ, никому было читать и объяснять“. Но вѣдь это опять все та же формалистика. Не было священныя книги, но вѣдь любовь-то, къ книгѣ была, и откуда-же эта любовь, благоговѣйная любовь, какъ не отъ горячей, благоговѣйной вѣры? Но кому было объяснять?—говоритъ г. Чеховъ и рассказываетъ, что при словахъ „дожде“ и „аще“, слушатели писанія плакали именно потому, что этихъ словъ не понимали. И опять тамъ, только формалистика со стороны г. Чехова! Крестьяне не понимаютъ „аще“ и „дожде“, но плачутъ, слыша ихъ, мы съ г. Чеховымъ понимаемъ эти слова и объяснить ихъ можемъ, но ужь, конечно, не заплачемъ: чья-же, спрашивается, душа болѣе раскрыта для вѣры, ихъ или наша? И что вышло и дорожѣ—нашему равнодушному пониманію или эти жаркія слезы непонимающихъ крестьянъ? Евангельскій фараисей и законъ зналъ лучше, и понималъ больше, и молился красивѣе, нежели мытарь, но мы знаемъ, чья молитва оказалась угоднѣе.

Полноте шипять г. Чехова,—запутаннѣе скажетъ намъ кто-нибудь изъ его почитателей. Вѣдь главный герой г. Чехова—трактирный лакей Николай Чижикъ, возратившійся въ родную деревню и вотъ его-то деревенскія впечатлѣнія авторъ и описываетъ. Я готовъ принять это возраженіе и освободить г. Чехова отъ всѣхъ сдѣланныхъ ему мною упрековъ. Но пусть же и онъ сдѣлаетъ существенную поправку въ своемъ произведеніи: пусть онъ озаглавитъ его не „Мужики“, а „Мужики, съ точки зрѣнія трактирнаго лакея“.

II.

Въ повѣсти „Мужики“ г. Чеховъ (до поправки мы будемъ относиться къ нему) сдѣлалъ кисло-пессимистическую гримасу по адресу деревни. Въ повѣсти „Моя жизнь“ онъ столь же кисло-гримасу дѣлаетъ по адресу города. Гримасы одинаковы по значенію, но повѣсти совсѣмъ неодинаковы по до-

стоинству: „Моя жизнь“ гораздо выше „Мужиковъ“ потому, что въ первой повѣсти есть серьезный психологическій элементъ, котораго совершенно лишена вторая. Въ повѣсти „Мужики“ нѣтъ ни одного характера: въ ней идетъ рѣчь только о правахъ и ни уже видѣн, какова эта рѣчь. Въ повѣсти „Моя жизнь“ рѣчь идетъ тоже о правахъ (городскихъ), но центральною фигурой является человѣкъ, внутренний міръ котораго можетъ глубоко заинтересовать художника-психолога. Это вѣкъ Михаилъ Полозневъ, человѣкъ небольшого образованія и небольшого ума, но очень большого сердца. Наша литература преизобилуетъ типами людей, которые очень красиво говорятъ и разсуждаютъ, и очень непрактично дѣйствуютъ и живутъ. Полозневъ г. Чехова отличается какъ разъ противоположными свойствами: онъ мало и плохо говоритъ, но живетъ безукоризненно. Принциповъ у него нѣтъ никакихъ и живетъ онъ, почитаясь только своими влеченіями, но такъ какъ эти влеченія хороши, то и результаты въ концѣ концовъ получается удовлетворительный. „За все время—такъ начинаеть разсказывать о своей жизни Полозневъ—пока я считаюсь взрослымъ, къ великому огорченію моего отца, городского архитектора, я перемѣнилъ девять должностей. Я служилъ по различнымъ вѣдомствамъ, но всѣ эти девять должностей были похожи одна на другую, какъ капли воды: я долженъ былъ сидѣть, писать, выслушивать грубыя или глупыя замѣчанія вѣдѣть, когда меня увольтъ“. Полозневъ разсуждаетъ дальше, что такой трудъ не есть умственный трудъ, какъ его въ томъ утѣряли всѣ, начиная съ отца, а есть трудъ машинный, стоящій ниже грубо-физическаго труда, но не въ этихъ его разсужденіяхъ дѣло, а въ томъ, что, сдѣлавшись маляромъ, онъ въ извѣстной степени нашолъ то нравственное удовлетвореніе, котораго напрасно искалъ, будучи чиновникомъ. Полозневъ—это человѣкъ, который въ культурной жизни города рѣшительно, какъ говорится, не ко двору. Въ то же время, какъ нравственная личность, какъ характеръ, онъ не только въ высшей степени симпатиченъ, но и внушаетъ къ себѣ истинное уваженіе своей цѣльностью, простотой, полнѣйшею искренностью. Составляеть эти два положенія и сдѣлайте выводъ. Этотъ выводъ ясенъ: блестящая жизнь города—гнилая жизнь, съ которой не могутъ примириться люди, нравственно здоровые и чистые. Вотъ идея повѣсти г. Чехова, идея, разумеется, очень новая, во развитая г. Чеховымъ довольно самостоятельно.

Алеко Пушкина бѣжалъ отъ культурной городской жизни къ цыганамъ; Оленинъ Толстого собирался бѣжать

от той же жизни к казням. Куда пристроить своего героя г. Чехов? Видь в деревню Полозове послать нельзя: мы видь только что видим, что это за штука такая — деревня и что это за народок — мужики. Чужое нравственное чувство героя г. Чехова будет потеряно в деревни не меньше, чем в городе. Послать его к цыганам или к пограничникам казакам — старо, неоригинально, и я ожидаю, что г. Чехов пошлет Полозова или к киргизам Бунтаской орды или к семейству Петорского края: куда-же еще? Видь в город просто жить нельзя. «Во всем город и не знашь ни одного честного человека» — прямо говорит Полозов. Вет браки взята, «а ть, которые берут по браки, как напр., чины судебного ведомства, были надменны, подавали два пальца, отличались холодною и узостью суждений, играли много в карты, много пили, женились на богатых и, несомненно, жили на среднюю вредное, раздражающее влияние». Здесть уль суффиксация автора несомненно. Сам Полозов человек кроткий и всепрощающий: его, взрослого молодого человека, бьет по щекам отец и он это терпит, у него уходит любимая жена и требует от него развода, от приятелей, конечно, ни на себя — и он этому требованию подчиняется и т. д. Гдѣ уж ему всемазовские громы бросать! Конечно, и г. Чехов не Ювенал, а только смиренный человек, которому при рождении пальца на нос очки с темными стеклами... Однако, возвращаясь к первоначальному вопросу, куда-же, все таки, дѣлаться Полозову? Г. Чехов рѣшил этот вопрос так, что хотя и оставил своего героя в том же самом городе, гдѣ «жить ни одного честного человека», но поставил его в другое общество, в среду людей физического труда. Судя по тому, что глава названной артели, в которую поступил Полозов, любить кстаты и не кстаты употреблять такой афоризм: «тля вѣтъ траву, ржа — желѣзо, а жла — душу» — судя по этому, можно было ожидать, что именно тут, в этой артели, я обрѣтается царство справедливости. Но нѣтъ. Въ том же и особенность г. Чехова, что ему хорошо только там, гдѣ его нѣтъ. Какъ только онъ подходит къ жилищу поближе и начинаеть всматриваться въ него, у него тотчас же начинаются сомнѣнія, которыя разрѣшаются полными отрицаніями. Артель? «Радій день обходился безъ мошенничества. Мошенничали и купцы, продававшие намъ олѣфу, и подрядчики, и робаты, и сами заказчики». Мошенничество, значитъ, было всемазовское, какъ выражается у Глѣба Успенскаго одинъ купецъ про драку. Для

насъ нѣтъ тутъ ничего ни новаго, ни особенно unpleasanta, но г. Чехову бѣда: ему некуда пристроить своего героя, у него нѣтъ отвѣта на вопросъ — какъ жить и гдѣ жить человѣку, не уничтожену и не жалящему мошенничать? Если вы позволите будете приставать къ г. Чехову, съ этимъ вопросомъ, то между нами и нами произойдетъ точь-въ-точь такой разговоръ, какъ между Матричемъ и Анитой, въ драмѣ Толстого «Власть тьмы». — Пустое самое наше немское сознаніе, говоритъ Матричъ. А какъ-же быть то? вѣдѣтъ разовно спрашиваетъ Анита. — А такъ и быть... Завернись съ головой в снѣг. О, Господи! — отвѣчаетъ Матричъ. Скажи Матричу, очевидно, ничего. Нечего сказать на вопросъ: «какъ-же быть то?» и г. Чехову. Онъ даже бѣднѣе, безоружнѣе Матрича. Пустое самое наше немское сознаніе повторяетъ г. Чеховъ и крестьянѣ, и горожанамъ, но до логическаго конца своей рѣчи — «завернись съ головой в снѣг» — онъ, въ качествѣ прогрессивнаго писателя, договориться не можетъ и не смѣетъ. А ужъ лучше-бы из чистоты! За то, когда г. Чеховъ смѣшивается на нѣкоторое разстаніе отъ только-что осужденнаго или жалова, его умственнымъ онъ опять проясняется, и онъ находитъ доброе и умное слово для того или для тѣхъ, кого онъ только что уничтожалъ. Мужики... мы видѣли что такое мужики, когда были съ г. Чеховымъ в деревнѣ. Но когда мы съ нимъ поробрились въ городѣ, мы потъ какъ разсудили о мужикахъ: «Въ самомъ дѣлѣ, были и грязь, и пьянство, и глупость, и обманъ, но при всемъ томъ, однако, чувствовалось, что янны мужицкая, въ обществѣ, держится на какомъ-то приконѣ, здоровомъ стержнѣ. Какимъ-бы неуклюжимъ зѣфирѣмъ казался мужикъ, или же своей силой, и какъ-бы онъ ни дурманилъ себя водкой, все-же, приглядываясь къ нему поближе, чувствуешь, что въ немъ есть то нужное и очень важное, чего нѣтъ въ образованныхъ людяхъ, а именно: онъ вѣритъ, что главное на свѣтѣ — правда, и что спасеніе его и всего народа въ одной лишь правдѣ, а потому больше всего на свѣтѣ онъ любитъ справедливость».

Какой сюрпризъ! Ахъ, г. Чеховъ, если-бы вы приписали эту точку зрѣнія въ своихъ деревенскихъ кабатчикамъ, сосватъ другой-бы у насъ съ вами разговоръ писателя! Но г. Чеховъ не можетъ иначе.

Что надъ руками, того онъ не любитъ,
То мнѣ кажется быть умному грѣху.

И. Протопоповъ.

Литература.